

ЛОРД ДАНСЕЙНИ



[225]

ИЛ 10/2018

Три рассказа

Из цикла *Джоркенс*

Переводы Г. Шульги, Н. Кротовской, В. Кулагиной-Ярцевой

Вступление В. Кулагиной-Ярцевой

Аристократ, заядлый охотник, ценитель лошадей и собак (чего стоит сцена невероятной погони за лисой в рассказе “Стол на тринадцать персон!”), воин, любитель крикета, первоклассный шахматист (сыграл вничью с Капабланкой, был чемпионом Ирландии), писатель — Эдвард Джон Мортон Дракс Планкетт, восемнадцатый барон Дансейни, превративший свой титул в литературный псевдоним — Лорд Дансейни.

Литературные пристрастия писателя определились в детстве — сначала это были сказки братьев Гримм, в Чим-скул — Библия и греческая мифология.

Писать Дансейни начал довольно поздно, по его собственным словам, в какой-то мере под впечатлением гастролей американской труппы, которая привезла в Англию спектакль “Любимец богов” Д. Беласко. Действие пьесы разворачивается в условной Японии. Это обращение к Востоку дало толчок к возникновению циклов рассказов “Боги Пеганы”, “Время и боги”.

Пегана — пространство, населенное большими и малыми богами. “Его рассказы о сверхъестественном отвергают как аллегорические толкования, так и научные объяснения. Их нельзя свести ни к Эзопу, ни к Уэллсу. Еще

© В. Кулагина-Ярцева. Перевод, вступление, 2018

© Г. Шульга. Перевод, 2018

© Н. Кротовская. Перевод, 2018

меньше они нуждаются в многозначительных толкованиях болтунов-психоаналитиков. Они просто волшебны. Видно, что Лорду Дансейни уютно в его зыбком мире”, — писал Борхес.

Рассказы и повести Дансейни сыграли большую роль в развитии жанра фэнтези. О его влиянии писали Дж. Р. Р. Толкин, Г. Ф. Лавкрафт, М. Муркок, Н. Гейман. Дружеские отношения связывали Дансейни с Уильямом Батлером Йейтсом, который подготовил к изданию один из его сборников, с Редьярдом Киплингом. Он состоял в переписке с А. Кларком. Лорд Дансейни принимал деятельное участие в Ирландском возрождении, поддерживал дублинский Театр Аббатства.

После Первой мировой войны, в которой, как и в англо-бурской, Дансейни участвовал, он опубликовал две книги: “Военные истории” и “О черных днях былых невзгод”¹, описывающие его военный опыт.

Лорд Дансейни был плодовитым драматургом, его пьесы с успехом шли в Англии и Ирландии и, судя по собственным словам писателя, возможно, были поставлены и в России.

Во второй половине тридцатых годов Дансейни заинтересовался идеей реинкарнации, что нашло отражение в книге “Мои беседы с деканом Спэнли”, в ходе этих бесед выясняется, что в предыдущем воплощении декан был собакой. Присущая Дансейни ирония находит выражение в том, что вспоминать о своей прежней жизни декан начинает под действием знаменитого “Imperial Tokay”. Тема получает продолжение в нескольких рассказах и в “Загадочном путешествии полковника Полдерса”, которому приходится пережить несколько самых невероятных перевоплощений.

Среди поздних работ Дансейни — рассказы о Сметерсе, детективе-любителе. В какой-то мере Сметерс предваряет появление Джозефа Джоркенса, героя более сотни рассказов о Джоркенсе. Сам Джоркенс — вполне реалистичный персонаж — средних лет, неутомимый рассказчик, иногда напоминающий барона Мюнхаузена, а иногда Швейка, и большой любитель виски. Истории, которыми он развлекает своих друзей по Бильярдному клубу, — одна невероятнее другой.

Знак

ОДНАЖДЫ, войдя в Бильярдный клуб ближе к обеду, я обнаружил, что разговор там несколько более серьезный, чем обычно. А именно говорили о переселении душ. Люди в клубе были разносторонние, темы обсуждались всяческие, от цен на фондовой бирже до мест, где следует по-

1. Unhappy far-off things — это строка из стихотворения Уильяма Водсворта “Одинокая жница” (перевод Игн. Ивановского), как и сборник “Время и боги”, назван по строке Алджернона Чарльза Суинберна “Время и боги враждуют” (“Time and the Gods are at strife”).

купать устрицы, однако тонкости учения браминов о жизни после смерти были несколько вне их диапазона. Я посмотрел на Джоркенса и все понял; если они заплыли в такие глубины, значит, спасались от Джоркенса — так человек, гуляя по эспланаде, вдруг сворачивает к морю, чтобы не слушать слишком длинную историю. А причиной желанья заплыть на эти глубины, спасаясь от Джоркенса, естественно, служило то, что одному или двум другим было что сказать на эту тему.

— Переселение душ, — сказал Джоркенс, — это такая штука, про которую много слышишь, но которую редко видишь.

Тербут открыл было рот, но ничего не сказал.

— Случилось мне однажды с этим столкнуться, — продолжал Джоркенс.

— Вам, столкнуться? — переспросил Тербут.

— Я вам расскажу, — сказал Джоркенс. — Совсем еще молодым я познакомился с человеком по имени Хорчер, который весьма поразил мое воображение. В частности, меня изумляло, как в разговоре о политике он спокойно говорил, что намерено сделать правительство, хотя ни в одной газете об этом еще не было ни слова. Это производило сильное впечатление. Более того, он столь же уверенно делал прогнозы, если речь шла о Европе.

— И оказывался прав? — спросил Тербут.

— Ну, этого бы я не сказал, — ответил Джоркенс, — но кто попал ведь не осмелится делать прогнозы. Так или иначе, тогда он удивлял меня чрезвычайно, да и людей постарше тоже. Еще он отличался тем, что давал мне советы по любому поводу. Не скажу, что советы эти были хороши, но они показывали широту его интересов и готовность разделить их с другими — как услышит, что вы хотите что-то сделать, так немедленно начнет советовать. Из-за его советов я потерял довольно много денег, и все же в них была такая непосредственность и безусловная, на первый взгляд, глубина, что они не могли не поражать. Итак, в один прекрасный день, когда я был еще очень молод и весь мир был для меня равно в новинку, а вера в браминов ничуть не более странна, чем теория наследственности, я заговорил с Хорчером о переселении душ. Он, как всегда, снисходительно улыбнулся моему невежеству и все мне объяснил. Брамины, сказал он, во многом неправы, они не изучили вопрос с научной точки зрения и, не достигнув соответствующего интеллектуального уровня, не поняли его наиболее сложных аспектов. Я не стану пересказывать, как он объяснял мне теорию переселения душ: вы сами можете прочесть все это в книгах; он не сказал ничего нового, но его спокойная уверенность произвела на меня сильное впечатление: говорил он так, словно сам все это придумал. Скажу только две вещи: первое — он говорил, что “если уж здесь нет

справедливости”, то в следующей жизни ему непременно воздастся за интерес к условиям благосостояния низших классов. “Ибо если, — говорил он, — в следующей жизни интерес к таким вещам не будет вознагражден, то какой смысл в этой?” Помню, когда он это говорил, мы гуляли по саду, и на тропинке было полно улиток, они, казалось, устремились к тополям, росшим чуть в стороне, а некоторые уже карабкались вверх по стволам, словно в эту пору им положено было совершать такое путешествие — стояло начало октября. Помню, он ступал прямо по улиткам, не из жестокости, ибо он не был жесток, но нельзя же придавать значение столь абсурдно низким формам жизни. Во-вторых, он придумал сигнал, точнее, придумал способ впечатать его в память. Сигнал был всего лишь греческая буква *фи*, но он, будучи человеком чрезвычайного прилежания, тренировался на запоминание этого символа так рьяно, что смог бы автоматически начертать его даже в другой жизни, уверял он. В этой же жизни он то и дело чертил его совершенно бессознательно — то пальцем на садовой ограде, то просто в воздухе — практиковался. И пообещал, что если увидит меня в своей следующей жизни и вспомнит (он ласково улыбнулся, словно подумав, что ведь может и вспомнить), то подаст мне этот знак, каков бы ни оказался его статус — и, соответственно, мой.

— И кем он полагал стать? — спросил я Джоркенса.

— Этого он не сказал, — ответил Джоркенс, — но явно был уверен, что очень важной персоной, я это понял по снисходительности, что сквозила в его ласковой улыбке, когда он сказал, что сделает мне знак, а потом поднял руку и начертал этот знак в воздухе с таким неторопливым изяществом, словно сидел на троне. Вряд ли я мог ему понадобиться в той триумфальной следующей жизни, но он столько сил положил на то, чтобы впечатать этот знак себе в душу, что не мог не чертить его в уверенности, что это умение ему не изменит, в кого бы его душа ни вселилась. И, естественно, он хотел, чтобы грядущие поколения знали, чего он достиг. Пока мы прогуливались, он примерно каждые полчаса совершенно бессознательно чертил этот знак: тренировался.

— А имел ли он основания считать, что в следующей жизни будет сидеть на троне? — спросил я.

— Ну, — сказал Джоркенс, — он был очень деловой человек, и я не могу сказать, был ли его интерес к жизни других филантропией или же грубым вмешательством; я судил по его собственной оценке, и теперь, когда он мертв, не стану судить иначе. Его собственные взгляды были таковы, что в общем и целом люди — дураки, поэтому за ними нужно присматривать, и он готов взять это на себя, хотя ему это и не

слишком нужно, и что система, которая не вознаграждает такого человеколюбца, — система дурацкая. Не думаю, что он считал дурацким Божье творенье: он ведь верил, что ему воздастся; самое большее, что он говорил, — что если бы миропорядком управлял он, то многое устроил бы лучше, чем оно устроено, и привел несколько примеров. Да, этот знак меня поразил. Хорчер сказал, что докажет чрезвычайную важность переселения душ для науки; но, по-моему, куда больше ему хотелось, чтобы я увидел, каких высот он достиг. И что же, он заставил меня поверить. Я много думал об этом и часто представлял себе, как на приеме или на другой торжественной церемонии при дворе какой-нибудь далекой страны я, единственный из всех присутствующих, вдруг получаю от ее правителя этот сигнал узнавания, ничего не говорящий всем остальным.

В подобающем возрасте он умер, а мне еще не исполнилось и тридцати; я решил, что в старости, как он советовал, буду следить за карьерой людей, занимающих высокие посты в Европе (ибо он не слишком задумывался об Азии), рожденных после его смерти и демонстрирующих таланты, которых можно было бы ожидать от него в следующей жизни, плюс все его достоинства из этой. Ибо я сказал себе: “Если он прав насчет переселения душ, то прав и в том, что оно ему принесет”. И знаете ли, насчет переселения душ он оказался прав. Через год после его смерти я гулял по тому самому саду, вспоминая греческую букву *phi* и то, как он меня призывал помнить ее: четкий круг и черта строго посередине. Иногда, чтобы не забыть, я чертил этот знак пальцем, совсем, как он; и в этот день я начертил его на старой красной садовой ограде. Я смотрел, как улитка медленно вползает на ограду, и вспоминал его пренебрежение к улиткам, и почему-то мне было приятно думать, что этих бедняжек он презирал не больше, чем людей. Блестящий след, который улитка оставляла на стене и который притягивал к себе солнечный свет, недостоин был его внимания, но и большинство творений рук человеческих казались ему столь же глупыми. Я все смотрел на яркий блестящий след продвижения улитки — и вдруг отвернулся, подумав, что он бы сказал: мол, только дурак или поэт станет впустую тратить время на такую ерунду. Отворачиваясь, боковым зрением я отметил, что улитка делает очень четкий поворот. Я снова посмотрел, уже внимательнее, не получилось ли это случайно, но улитка, поднимаясь по стене, очень четко обрисовала четверть окружности. Причем настолько ровно, что я продолжал наблюдать, пока четверть не превратилась в правильный полукруг. И когда она поползла вниз, я заволновался. А потом заволновался еще больше: ведь

сначала она явно ползла вверх. Почему же сейчас она ползет вниз? Диаметр круга был около четырех дюймов. Улитка все ползла и ползла. Поскольку я только что вспоминал о знаке, я отметил: если замкнет круг, то это будет половина знака. Круг был именно такого размера, как знак, который по-королевски чертил указательным пальцем Хорчер. Улитка продолжала ползти. Когда до завершения круга осталось полдюйма, как это ни глупо, я и сам стал чертить этот знак пальцем в воздухе. Я понимал, что улитка не увидит: если это действительно Хорчер, то знак чертит всего лишь привычка, гипнотически впечатанная в глубины эго, привычка, ничего общего не имеющая с интеллектом. И я выбросил из головы эту абсурдную мысль. Но улитка продолжала ползти. И завершила круг. “Что ж, — подумал я, — улитка движется кругами, как и многие другие животные, например, собаки; наверное, и птицы тоже, почему бы и нет. А мне следует сохранять спокойствие”.

И знаете ли, улитка, завершив круг, поползла по стене прямо вверх, деля этот круг пополам с удивительной точностью. Я стоял, открыв рот, и смотрел во все глаза. Снизу шел строго вертикальный след — улитка поднималась вверх по стене, потом пересекла круг и теперь продолжала ползти вертикально по линии, разделяющей круг пополам. Она доползла до верхней точки круга. Что теперь? Улитка поползла прямо вверх. Достигнув некоей точки дюймах в двух над кругом, она остановилась, начертав правильную *фи* и доказав реальность мечты брамина. “Бедный Хорчер!” — сказал я.

— Вы сделали что-нибудь для этой улитки? — спросил Тербут.

— Я подумал, не убить ли ее, — ответил Джоркенс, — чтобы дать Хорчеру шанс третьей жизни. А потом понял, что с его мировоззрением и сотни жизней не хватит, чтобы очиститься. Нельзя же бесконечно убивать улиток!

Перевод Г. Шульги

Неаполитанское мороженое

Я уже не раз упоминал о беседах в Бильярдном клубе, тема которых выбиралась его завсегдатаями с особым тщанием с единственной целью — направить их в то русло, куда Джоркенсу путь был заказан. Я вспомнил об этой бесчестной уловке вовсе не для того, чтобы ее осудить, а просто потому, что она послужила прелюдией к рассказу Джоркенса о некоем происшествии, которое, возможно, проливает свет на его не вполне обычный характер. В тот день за

ланчем речь зашла об исследовании Северного полюса. Не стану пересказывать беседу во всех подробностях, оригинальностью она не отличалась, к тому же разговоры в клубе никакой оригинальности не требуют. В частности, один из присутствующих заметил:

— Должно быть, там довольно трудно не замерзнуть?

— Чертовски трудно! — согласился Джоркенс.

“А вам откуда знать?” — едва не вырвалось у Тербута. Но опасаясь, как бы Джоркенс не присоединился к разговору, он прикусил язык.

— Но можно ведь согреться с помощью виски, не так ли? — спросил один из нас.

— Сомневаюсь, — ответил Джоркенс, — виски сильно переоценен.

Этим-то Джоркенс мне и нравится: порой он делает на редкость неожиданные заявления.

— Виски переоценен!?! — воскликнули мы.

— Ну да, если сравнивать с другими напитками.

— Например? — в голосе Тербута прозвучал неподдельный интерес.

— Чтобы не замерзнуть во льдах и снегах, — начал Джоркенс, — и, возможно, избежать обморожения, нет ничего лучше напитка, которым угостил меня за обедом один человек в ресторане на Пунт-стрит. Этот ресторан давно закрыт, теперь там парикмахерская. Удивительный напиток: мед, розы и нежнейший огонь — ласковый, теплый и слегка мерцающий. В жизни ничего подобного не пробовал. К сожалению, не знаю, как он называется. Тот человек был в некотором роде путешественник. Где он раскопал эту бутылку, неизвестно. Ее принес официант, но мне так и не удалось заказать ничего похожего ни в этом ресторане, ни где-нибудь еще. Тот человек держал все в большом секрете. Напиток принесли только в самом конце обеда. Вместе с неаполитанским мороженым. Я бы предпочел, чтобы бокал с этим напитком стоял передо мной в продолжение всего обеда; как и любой из вас, если бы вы хоть раз его попробовали. Но подали его только к мороженому. — И Джоркенс тихо вздохнул.

— Вам так и не удалось узнать его название? — в голосе Тербута вновь звучал неподдельный интерес.

— Увы, — ответил Джоркенс, — у нас была деловая встреча. Тому человеку ужасно хотелось, чтобы мы договорились, чтобы я был в подходящем настроении, вот он и принес эту бутылку. В подобных сделках множество секретов, и напиток был одним из них. Но вышло так, что этот тип перестарался, и сделка сорвалась. Я, однако ж, попробовал божественный напиток. И выпил бы гораздо больше, но его подали только к мороженому.

Тот человек угостил меня превосходным обедом. Да, в самом деле. Он знал толк в таких вещах. Черепаховый суп — из свежей черепахи, разумеется, — барабулька, тоже по-своему недурная, только слишком костлявая, а потом заяц, обыкновенный заяц, но в этом ресторане на Пунт-стрит его умели готовить. Вот, пожалуй, и все, а еще было неаполитанское мороженое. Довольно скромный обед, но, знаете ли, невероятно вкусный.

Заметив, что Тербут хочет что-то сказать, он, быстро повернувшись к нему, спросил:

— Быть может, вы не слишком хорошо представляете себе, что такое неаполитанское мороженое, Тербут?

Решив, что его обвиняют в незнании света, который Джоркенс исколесил вдоль и поперек, Тербут выпалил:

— Конечно, знаю. Оно зеленое, белое и розовое. Белое — обычно ванильное, розовое, разумеется, клубничное, что до зеленого, то здесь я не совсем уверен, но...

— Это к делу не относится.

— Мы слишком удалились от Арктики, — язвительно заметил Тербут.

— О ней я и собираюсь рассказать, — ответил Джоркенс. — Напиток принесли с мороженым. Как только я его выпил, во мне пробудилось воображение, какого не могло пробудить ничто иное. Освободился сам мой дух. Я, вероятно, выпил бокала два, не помню точно. Но этот ресторан, Пунт-стрит, весь Лондон в мгновение ока остались позади, и мое воображение, мой дух или что там еще, что составляет наше Я, устремилось через Англию на Север.

— Как вы узнали, что движетесь на Север? — спросил Тербут.

— Как узнал? — переспросил Джоркенс. — Я видел. Я был свободен. Мой дух был свободен. Я летел высоко над Англией. Видел ее очертания, зеленый длинный пояс, протянувшийся на север, и Шотландию тоже. Сплошная зелень, а потом снега. Вероятно, за несколько секунд я преодолел зеленую полосу в шестьсот миль. Вот как путешествуют духи. Конечно, тот парень дал мне выпить слишком много, и все мысли о сделке улетучились. Я был выше таких вещей, высоко над землей. И мчался на север. Моря почти мгновенно сковало льдом, белая пена, заледевав, покрылась снегом на сотни и сотни миль. А я все мчался на север. И вот передо мною Арктика, искрящийся под солнцем снег, восхитительное зрелище, самое невероятное путешествие из всех, в каких я побывал. Но безграничной свободе быстро приходит конец. Едва узрев красоту необъятных просторов Арктики, я ощутил, что дух мой низвергается. Камнем падает вниз. И вскоре я уже лежал в снегу. Пока я мчался в поднебесье быстрее перелетных птиц, я не ощущал своего тела, теперь же, в сне-

гу, я его ощутил. От сверкающей белизны резало глаза. Губы мои коченели, потому что я лежал ничком. Я, еще совсем недавно неподвластный силе тяготения, теперь головы поднять не мог, хотя и чувствовал, как стынут губы. Боль сменилась потерей чувствительности — первый признак обморожения.

— Как же вы могли обморозить себе губы, — спросил Тербут, — если по-прежнему находились в Лондоне, внутри помещения?

— Ну, не совсем обморозил, — ответил Джоркенс. — Однако на следующий день я пошел к врачу, и тот сказал, что еще минуты три, и это бы неминуемо случилось.

— Не понимаю, каким образом.

— Я рассказываю вам только о том, что было, — абсолютно спокойно отозвался Джоркенс. — Лед на поверхности снега искрился, и эта картина, еще недавно казавшаяся мне прекрасной, теперь начала утомлять. Сверкание льда изнурило мой мозг, и я не мог поднять головы. В том-то беда с любой выпивкой: чем выше воспаряешь, тем ниже падаешь. Но никогда еще не падал я так низко, я даже глаз не мог открыть. Когда же я их все-таки открыл, то увидел северное сияние, совсем рядом, и его отблеск на снегу. Белый снег кончался ровно там, где лежало мое изможденное лицо, а дальше, на много миль кругом, расстилались снега в северном сиянии. Стоило лежать там с обмороженными губами, чтобы лицезреть это вечное чудо: сотни миль ярко-розового снега, блиставшего, подобно утренней заре. Холодный снег, накрывший землю драгоценным покрывалом, и аромат клубники.

— Клубники?! — не выдержал Тербут. — Буйное у вас, должно быть, воображение, раз вы подумали о клубнике в Арктике.

— Вовсе нет, — возразил Джоркенс. — Я привожу только голые факты. Воображение здесь ни при чем. Я лежал лицом в неаполитанском мороженом. Съехал с зеленого слоя, уткнулся губами в ванильный, а прямо у меня перед глазами был клубничный. Разумеется, количество клубники в клубничном мороженом остается на совести того, кто его готовит, но у этого был отчетливый клубничный аромат и никакой ванили.

Перевод Н. Кротовской

Как Райан выбрался из России

— Я снова должен заявить, — произнес Джоркенс, то ли откликаясь на реплику, которую я не слышал, то ли в ответ на какое-то собственное ожившее

воспоминание, — что любой, кто видит что-то необычное в моих историях, понятия не имеет, что́ люди рассказывают ежедневно, ежечасно. Круглые сутки в Лондоне, не говоря о других местах, кто-то рассказывает гораздо менее правдоподобные вещи, чем я. Тогда почему меня обвиняют в том, что я выдумываю небывлицы? Можете ответить? Нет. Разве какая-нибудь моя история была опровергнута с привлечением научных фактов? Нет, — добавил он, не дав никому времени на ответ, но, собственно, никто возражать и не собирался. — А я, — продолжал Джоркенс, — готов подтвердить свои слова. Могу немедленно познакомить любого из вас с человеком, который рассказывает гораздо более странные вещи, чем я, — всего лишь в миле отсюда. А если еще не начал рассказывать, то начнет, как только мы его попросим. Отведу всех, кто захочет. Ну, кто пойдет?

— Прекрасно, прекрасно, — протянул без паузы Джоркенс. — Никто из вас не собирается идти. Тогда, пожалуйста, не говорите и не позволяйте никому говорить, что мои истории более необычны, чем другие. Потому что я даю вам возможность убедиться, а вы не хотите ею воспользоваться. Прекрасно. Официант!

Через минуту Джоркенс уже устроился бы где-нибудь с изрядной порцией виски; таким образом он собирался утешиться, затем он бы слегка вздремнул, а когда проснулся, то позабыл бы свой гнев, потому что никогда не сердился долго, а вместе с гневом — и весь этот случай, и человека, к которому обещал нас отвести. Не стану определять, насколько странными были истории Джоркенса, пусть об этом судит читатель, но должен заметить, что тот, чье повествование оказалось бы еще удивительней, должен был бы рассказать нечто совершенно неправдоподобное. Поэтому, прежде чем Джоркенс успел поймать взгляд официанта и заказать виски, я сказал:

— Не пойти с вами было бы нечестно, Джоркенс. Вы собираетесь доказать, что ваши истории самые обычные, а вам не дают этого сделать. Я пойду.

Джоркенс с сожалением посмотрел в дальний конец комнаты, где находились официанты, затем сказал: “Прекрасно”. Мы вышли из Бильярдного клуба и тут же очутились в такси, которое повезло нас в сторону Сохо. В последний момент с нами решил поехать Таттон, тоже член клуба.

Мне показалось, что даже в такси Джоркенс сожалел об упущенном виски, потому что весь путь просидел молча; но, когда мы добрались до какого-то сомнительного кафе, темно-го и маленького, под названием “Вселенная”, он велел остановиться, мы вошли внутрь, и он тут же увидел человека, кото-

рого высматривал, и сразу оживился. Этот человек сидел один за столиком и ел какую-то странную чужеземную еду.

— Посмотрите на его лоб, — сказал Джоркенс.

— Ну да, — отозвался я, — нет у него никакого лба.

— Только брови торчат, — сказал Джоркенс. — А лба нет. Как вы и сказали. Он не из людей с воображением.

— Ни в коей мере, — согласился я.

— Конечно нет, — подтвердил Таттон.

— Прекрасно, — сказал Джоркенс.

Он взял два стула и подтащил их к столику, а я захватил стул для себя.

— Парочка друзей, — пояснил Джоркенс, — они хотят послушать твой рассказ. — В ту же минуту он дал знак официанту, который, на мой взгляд, родом был из Восточной Европы, точнее я определить не сумел, сигнал же, несомненно, означал абсент, и абсент явился. Человек, не произнеся ни слова, пригубил абсент, потом приложился еще раз, чтобы удостовериться, что напиток такой, как надо, и начал:

— Я был в русской тюрьме, — сказал он. — Там стены в десять футов толщиной. И я был приговорен к смерти.

— Давай с самого начала, — попросил Джоркенс.

— Я должен был умереть на следующее утро, собственно говоря, — продолжал рассказчик, — времени оставалось немного. А я выцарапывал известку между больших камней ребром пуговицы от брюк.

— С начала, — повторил Джоркенс.

— О, — произнес человек. Он поднял взгляд от своего абсента, его короткие черные усы были влажными, в глазах роились воспоминания. Он начал еще раз: — Я так и не узнал, на кого шпионил, — сказал он.

— Расскажи им, как ты оказался шпионом, — подсказал Джоркенс.

— Я посещал один шахматный клуб в Париже, — сказал человек. Он глотнул еще абсента, и, казалось, к нему вернулось прошлое. — Это было темное, грязное заведение. Я и был-то там всего два раза. И во второй раз поглядел на соседний столик. Позиция у меня была хорошая и обещала стать еще лучше, и, пока мой противник раздумывал над ходом, я повернулся, чтобы взглянуть на стол через проход от нашего. И был потрясен: один из игроков не знал, как ходить конем. Он передвинул фигуру как попало, а его противник ничего не заметил. Так, значит, это был не шахматный клуб.

Меня привел сюда человек, о котором я ничего не знал. Ждать помощи было неоткуда. Мой противник в самом деле был шахматистом, но одна весна ласточки не делает. Я бросил

взгляд на остальные доски и увидел то же, что на соседнем столе. Шахматы служили лишь для отвода глаз. Что здесь происходит? До двери было далеко, и я был здесь совсем один.

— Знаешь, ты никогда не говорил мне, — заметил Джоркенс, — что ты делал в Париже.

— Так, смотрел, не подвернется ли что-нибудь.

— Ну хорошо, давай дальше.

Он глотнул еще абсента и продолжал:

— Я стал оглядываться и прикидывать, сколько людей между мной и дверью. Положение — хуже не придумаешь. За моим взглядом следили и, казалось, читали мои мысли. Трудно было стать более заметным, разве что прямо кинуться к двери. Один из игроков вскоре поднялся и направился в мою сторону, делая вид, что не собирается подходить ко мне. Но я-то знал, что это не так. Он прошел мимо нашего столика, но тут же обернулся и заговорил со мной:

“Вы один из нас?” — спросил он.

Говорить “да” не имело смысла. Паролей не выдумает. А их наверняка было множество. Я сразу понял, что это за люди, как только обнаружил, что они не те, за кого себя выдают.

Поэтому я сказал: “Нет, но хотел бы стать”.

Это был единственный выход. Мне пришлось дать множество клятв, о которых я вам ничего не скажу, за это, знаете ли, предусмотрены кары. И я стал членом, причем самого низшего ранга, какого-то объединения, о котором я до сих пор практически ничего не знаю. О его деятельности мне было известно только одно: начальники, по всей видимости, отдавали приказы таким людям, как я. И этим приказам следовало повиноваться. В противном случае вас ждали некие малоприятные процедуры за перегородкой в конце этой грязной комнаты, разумеется, в дальнем от двери конце, а потом — Сена.

Я вернулся к Мими. Я не рассказывал тебе о Мими.

“Мими, — сказал я ей, — этот шахматный клуб оказался не шахматным клубом, а чем-то совсем другим, и мне надо покинуть Париж”.

Она тут же ответила: “Не надо уезжать. Не сомневайся, эти люди следят за тобой. Они не должны видеть, что ты пытаешься сбежать. Это опасно”.

И, вы знаете, она была права.

“Какие люди, Мими? Ведь я не говорил тебе, что это за люди”.

“Мне знаком этот тип”, — откликнулась она и продолжала уговаривать меня не уезжать.

И она, несомненно, была права. Они следили за мной. На следующее утро я увидел, что Мими смотрит в окно и ничего не говорит, только смотрит. Я тоже подошел и посмотрел.

Там, снаружи, стоял человек, он выглядел чересчур беззаботным, он как-то слишком задумчиво поглядывал на небо; и я понял, что Мими не ошибалась.

Поэтому я просто остался с Мими. И вот однажды пришел приказ: вечером явиться в шахматный клуб и получить инструкции от Великого магистра. Ну я пошел, вполне представляя себе, каким может быть этот приказ. Но пошел.

Магистр при полном параде стоял в дальнем конце темной комнаты, отделенном портьерой, горела лишь пара свечей.

“Вы поедете в Россию”, — объявил он, и, прежде чем он произнес еще хоть слово, я успел вставить то, что было необходимо.

“Не для того чтобы убить кого-нибудь”. — Я поспешил вернуть эту фразу, потому что, если бы он уже отдал приказ, все было бы решено. Если бы я не подчинился приказу, дело кончилось бы Сеной, если же я сразу дал ему понять, чего ни за что не стану делать, оставался призрачный шанс. Зачем утруждаться, тащить ночью мешок к Сене, думал я, если знаешь, что ничего от этого не выиграешь? Шанс, конечно, был невелик. Магистр удивился, с минуту он молчал.

“И даже если этот человек только что подписал смертный приговор двумстам тысячам невинных мужчин и женщин?” — задал он вопрос.

“Это его дело, — ответил я. — Я забочусь о себе”.

“Вы бы не убили даже такого человека?” — спросил он.

“Нет”, — ответил я.

Он снова помолчал, и те, кто был с ним, тоже; такое молчание подобно землетрясению или какому другому стихийному бедствию; а их облачения шелестели в тишине. Прошло, наверное, всего секунды две, и он снова заговорил.

“Я не отдавал вам приказа убивать”, — произнес он.

Значит, он сработал, мой призрачный шанс.

“Вы должны будете уничтожить нечто более губительное, чем человек, — сказал он. — Но, возможно, ваша совесть не позволяет вам причинить вред и машине?”

Простые слова прозвучали довольно язвительно.

“Я выполню приказ”.

“Вы поедете в Россию, — повторил он. — Там в Новарсинске есть машина, которая производит боеприпасы. Таких машин в России всего три. Это самые смертоносные машины в мире. И одну из них вам предстоит вывести из строя”.

Он замолчал. Мне вручили паспорт, деньги, железнодорожные билеты и красивую трость, внутри которой находилась стальной стержень. В один прекрасный день я должен был вытащить этот стержень, спрятать в одежде и засунуть в ма-

шину. Мне выдали свидетельство, поддельное, разумеется, согласно которому я был одним из лучших в мире экспертов по эксплуатации подобных машин. Оно было подписано парнем, который, судя по всему, навидался снега в России. Я кое-что понимал в технике, но не слишком.

“Что мне нужно сделать с машиной?” — переспросил я.

Но собрание уже завершилось.

“Вам не следует медлить, — сказал один из присутствующих, — затолкайте стержень в машину как можно скорее и возвращайтесь”. — И он чуть ли не вытолкнул меня за дверь. Этот же человек посадил меня в поезд, который повез меня через всю Европу. Я пытался что-то объяснить Мими и при этом не проговориться. Я мало что рассказал вам, а ей — еще меньше. Все же она о многом догадалась. Удивительно, но она напророчила, что вернусь я благополучно. Бог знает, откуда ей это было известно. И в самых необычных обстоятельствах я помнил ее слова — даже когда, казалось, был обречен.

Я проехал по Европе, миновал серебристо-зеленые ржаные поля Германии, и еще многое другое, но не столько думал о пейзажах за окном, сколько о своих шансах увидеть их снова на обратном пути. Понимаете, я воображал, что уеду из России на поезде, если вообще уеду. Если хотите, попытайтесь угадать, каким образом я оттуда выбрался. Сам бы я никогда не догадался.

Добравшись до места, я продемонстрировал свое свидетельство. Мне оно с самого начала казалось выше всяких похвал, но это не шло в сравнение с тем, как восприняли его они: несомненно, я оказался тем самым человеком, которого ждали. Судя по всему, им не хватало инженеров. Меня привели к этой машине, а я понимал в ней очень мало, пожалуй только, что это механизм, который нуждается в смазке. Эта штука была огромной, наверное, с небольшой корабельный двигатель, и она редела подо мной, а окружающие смотрели на нее, словно она — ну, здесь просто не с чем сравнить; ведь у них нет ни религии, ни короля, их не сильно заботит человеческая жизнь, поэтому нет смысла говорить, что они смотрели на машину, как их дети смотрят на них самих, или на Бога, или на что-то подобное. Но по тому, как они смотрели на нее, я представлял себе, что они сделают с человеком, который ее испортит. Я обошел машину, смазывая ее, и это было все, что я мог с ней сделать за обещанные 2000 фунтов в год. Я считал, что, чем скорее я сломаю ее и скроюсь, тем лучше. Так я и поступил. Не скрылся, нет, за этим они следили, а испортил машину. Я протолкнул через решетку стальной стержень длиной в полтора фута, хорошенько нажав на него указательным пальцем, и он стрелой полетел вниз, в на-

правлении зубцов огромных шестерней, пока не скрылся из вида. Шестерни заклинило, и рев машины, который раньше был похож на громкое мурлыканье, вдруг изменил тональность. Мне не понравилось, что тональность изменилась так сразу. Не знаю, чего я ждал. Как можно было предполагать, что испортишь такую махину, не производя шума? Сейчас я понимаю, что с таким же успехом мог бы попробовать заколоть штыком тигра в зоопарке и надеяться, что служители этого не заметят. Разумеется, я был один, когда пропихивал стержень, но машина начала реветь, как раненый слон в посудной лавке; и большевики обступили меня. Разумеется, я сказал, что не понимаю в чем дело, и они на меня не набросились все разом. Сказали, что меня будут судить, и отвели в тюрьму, но были довольно вежливы. Мне пришлось в голову, что доказать они ничего не сумеют и что у меня неплохие шансы. Беспокоило, правда, что они могут до начала суда продержать меня в тюрьме несколько месяцев. Но они торопились со мной разобраться. Что касается моих шансов, то они несколько потускнели, когда один из русских явился в тюрьму меня допрашивать.

“Вы ничего не докажете”, — заметил я.

“Доказывать! — отозвался он. — Мы не тратим время на доказательства, когда прекрасно знаем, что произошло”.

“Но вы должны приводить доказательства в суде”, — сказал я.

“Должны? Почему?” — удивился он.

“Потому что иначе вы можете покарать невинного человека”, — объяснил я.

Он язвительно рассмеялся:

“Прерывать ради этого ход процесса — то же самое, что останавливать вспашку степей тракторами из боязни задеть червяка”.

Я собирался сказать, что в Англии дела обстоят иначе, но вовремя остановился и задумался.

Время суда настало довольно быстро. Я выработал неплохую линию защиты. Кто видел меня со стальным штырем? Как я мог его спрятать? Зачем мне было портить машину, за работу с которой мне собирались платить 2000 фунтов в год? Ну и еще множество вопросов. Но когда я поглядел на присутствующих в суде, то понял, что они рассчитывали именно на это. И в самый последний момент сообразил, что надо придумать что-то получше.

Обвинение было прочитано, и судья устремил взгляд прямо на меня.

“Вы совершили это?” — спросил он.

“Да”, — мгновенно ответил я.

“Почему?”

“Меня принудили капиталисты”.

Они сразу заинтересовались.

“Какой страны?” – спросил он.

“Англии”, – сказал я и заметил, что ответ понравился.

“Кто отдал вам приказ?” – продолжал судья.

“Архиепископ Кентерберийский”, – сказал я и увидел, что снова дал правильный ответ.

“Где именно он отдал вам приказ?” – послышался новый вопрос судьи.

“В задней части собора”.

Это тоже был хороший ответ. Они никогда не слышали о Ламбетском дворце, не представляли себе, что разговор такого рода никак не мог происходить в соборе, но тень его высоких стен послужила прекрасным фоном. И они снова мне поверили. Я видел это.

“Какими словами он это сказал?” – спросил судья.

И вот здесь я потерпел крах. У меня не было ничего заготовлено заранее, судья же поедал меня глазами, и я не мог ничего придумать вот так сразу.

“У этих мерзких русских есть машина”, – начал я, но по их изменившимся лицам понял, что это прозвучало неубедительно. А человек очень пристально наблюдает за лицами людей, когда от того, что они думают, зависит его жизнь. Понимаете, мне не хотелось ругать их прямо в лицо, и моя дурацкая вежливость все погубила. Мне следовало не мямлить, а наговорить им того, чего они ждали от видной фигуры капиталистической страны. Вы же видите, что они сделали с религией. Они ожидали, что высказывание о них архиепископа будет гораздо жестче, а я оказался слишком деликатен. Так что желание пощадить их чувства окончилось для меня смертным приговором. Я видел, что они перестали мне верить, и после этого мои ответы выглядели совершенно беспомощными. Спустя минуту-другую судья, затянувшись папиромой, откинулся назад и посмотрел на меня, затем выдохнул дым и произнес пару слов по-русски. “Скажи ему, что приговор – смерть”, – сказал один из них. У часового, стоявшего рядом со мной, была винтовка с внушительным штыком. Он вынул изо рта папиросу, отчеканил: “Смерть” и продолжал курить.

Они до сих пор не знали моего настоящего имени, а сейчас вдруг заинтересовались, когда, казалось бы, это больше не имело никакого значения. Я назвал им имя – Боук.

– А какое имя ты назовешь нам? – спросил Джоркенс.

Рассказчик с минуту подумал и произнес:

– Райан.

— Вот здесь история становится несколько необычной, — заметил Джоркенс.

— Когда меня опять отвели в тюрьму, я понял, что это ненадолго, — продолжал рассказчик. — По представлению англичан, в таких случаях нужно дать человеку время, чтобы он позаботился о своей душе; но в России, где души нет, вряд ли они заставят меня долго ждать.

Я внимательно осмотрел камни, из которых была сложена стена тюрьмы, серые, квадратные, когда-то их скрепляла известка, я решил удалить ее и вытащить один камень — после чего с другими будет легче справиться, — и поглядеть, куда ведет эта дыра. У меня на брюках было десять металлических пуговиц, и, когда я согнул одну из них пополам, то у меня получилось что-то вроде скребка, и, не тратя драгоценного времени, я тут же принялся скоблить известку. Старая и отсыревшая, она легко поддавалась, и у меня появилась надежда. В моей камере был стул, и как только начиналась возня с дверным замком, я поворачивал стул и садился на него, спиной к камню, над которым трудился. Замок давал о себе знать не часто; дважды в день надзиратель приносил мне еду и еще заходил в неурочный час, всего выходило раза три; но в этот день он приходил чаще, думаю, привлеченный новостью о том, что меня приговорили к смерти. Как только ключ начинал поворачиваться в замке, я ставил стул на место и, прежде чем дверь приоткрывалась, уже сидел на нем. К вечеру я высвободил камень, а извел всего две пуговицы, и даже ими еще можно было поработать. Ночью я вытащил камень и принялся за тот, что был за ним. Затем прибрал пыль, часть ее просто съел, вернул камень на место и проспал час-другой. Но тратить много времени на сон мне не хотелось, ведь я не знал, сколько его у меня вообще осталось; и с раннего утра я снова принялся за работу над следующим камнем. Мне удалось неплохо продвинуться.

Эти русские просто дьяволы. Они знают, как свергнуть тебя в отчаяние. Раньше я никогда в жизни не испытывал отчаяния. Я уходил от него, как отступают от края обрыва. Из-за них я пал духом. Должно быть, они наблюдали за мной в дверной глазок. Потому что когда замок загремел, и один из них вошел, я уже сидел на стуле спиной к камням, которые высвободил, а то, что осталось от согнутой пуговицы, лежало у меня в кармане. Вошедший не произнес ни слова, только бросил на пол передо мной молоток и хорошее острое долото и вышел из камеры. Тогда я понял, что стены камеры, должно быть, толщиной футов в десять и что ничего тут не поделаешь. Я оставил лежать на полу молоток и долото. Мной овладело уныние. Если бы он заключил меня в темницу, или надел

кандалы, или избил, я бы выдержал, но этот молоток и долото показались мне знаком судьбы.

Человек, принесший мне еду, посмотрел на долото, как вы посмотрели бы на змею, удостоверился, что до инструментов я не дотянусь и опасности не представляю, и ушел, оставив их на полу.

На следующий день я угрюмо бездействовал, как вдруг в камеру вошел человек, по сравнению с остальными он выглядел щеголем. Я взглянул на него.

“Хотите отсрочить исполнение приговора?” — спросил он.

Не знаю, что он мог от меня за это потребовать — возможно, предать всех этих людей из Парижа. Достаточно было на него взглянуть. Поэтому я ответил:

“Нет, благодарю вас”.

“Не хотите получить отсрочку?”

“Нет, не сегодня, спасибо”, — сказал я.

“Если не сегодня, значит, никогда, — сказал он, — потому что завтра вы окажетесь в подвале”.

Он медлил у двери, посматривая, не передумал ли я. Но я не передумал. Судя по выражению его лица, можно было не сомневаться, что тут кроется подвох.

А немного погодя пришел другой человек, словно первого и не было.

“У меня для вас отсрочка приговора”, — сказал он.

“Что я должен за это сделать?” — спросил я.

“Мы собираемся исследовать одно отдаленное место, возможно, колонизировать его, — ответил он. — Мы хотим, чтобы вы попали туда первым и зажгли огонь в знак того, что добрались”.

“Что еще?” — спросил я.

“Больше ничего”.

“Как я туда попаду?” — задал я вопрос.

“Мы отправим вас”, — ответил он.

“Куда именно?”

“На Луну”, — сказал он.

“Ерунда”.

“Ерунда — с точки зрения капиталистов, — сказал он. — От России они отстают лет на двести, а империалисты — настолько, что трудно себе представить. Но нашим ученым вполне под силу добраться до Луны”.

“Как вы собираетесь доставить меня туда?”

“Вами выстрелят из пушки”, — сказал он.

“Но есть две причины, по которым у вас ничего не выйдет”, — сообщил я ему.

“Какие именно?” — спросил он с улыбкой превосходства.

“Во-первых, — сказал я, — ваша скорлупка разлетится на куски при приземлении или, скорее, расплавится”.

“У нас есть парашют, вы его освободите, выдернув стопор, когда приблизитесь к Луне. Нос капсулы — стеклянный”.

“Есть и другая причина, — сказал я, — старт при скорости тысяча футов в секунду меня просто прикончит. Даже железнодорожный состав...”

“Не прикончит, — возразил он. — Вы будете двигаться со скоростью от трехсот до четырехсот миль в час”.

“Как вы добились этого?”

Опять эта высокомерная улыбка, словно их ученые — взрослые люди, а жители остальных стран — несмышленные дети.

“У нас есть рельсы, — принялся он объяснять. — Ваша капсула на очень маленьких колесах будет скатываться по рельсам почти что вертикально четыреста или пятьсот футов, набирая скорость. Как только она въедет в туннель, за ней захлопывается люк. Туннель — это ствол пушки. Как в любой пушке, расширенный внизу ствол образует зарядную камеру, куда засыпан порох. Когда капсула выкатится из камеры, порох будет подожжен. Большие блоки черного пороха горят медленно по сравнению с современными взрывчатыми веществами, к тому времени, как вы вылетите из жерла, у вас будет максимальная скорость. Это понятно?”

“Ствол нарезной?” — спросил я.

Снова снисходительный тон, как будто он разговаривает с ребенком.

“Разумеется, — сказал он. — Внутри ствола винтообразно нарезаны желобки для колес”.

“В таком случае, у меня от вращения выключатся мозги, и я не сумею освободить парашют”.

“В вашей кабине есть гироскоп”, — пояснил он.

“Что? При наружном вращении гироскоп удерживает кабину?”

“Разумеется”, — ответил он.

“А чем я буду дышать?” — спросил я.

“Кислородом”.

“А что есть и пить?”

“Мы снабдим вас припасами”, — сказал он.

“Надолго ли их хватит на Луне?” — спросил я.

“Мы пришлем новые капсулы”.

“И одна из них, чего доброго, угодит прямо в меня”.

“Весьма маловероятно, — сказал он. — Наш человек в подвале работал над этим не покладая рук. Было, наверное, тысяч пятьдесят пусков, и мы ни разу не промахнулись”.

Видно было, что им не терпится отправить меня, — по тактичному упоминанию этой скотины в подвале. Ну, в подвал я попасть не стремился и дал согласие. Пожить немного дольше неплохо, и в любом случае я бы покинул Россию.

Меня освободили из тюрьмы и предоставили приличное жилье; здесь стены были оклеены обоями, но убежать было не легче: за мной пристально следили.

Здание, где меня поселили, было окружено внутренним двором, огороженным стеной высотой в тридцать футов, а по двору сновали солдаты.

Больше всего им хотелось, чтобы я, попав на Луну, разжег огонь: мне вручили пакет пороха, который нужно было рассыпать по площади в сто ярдов, они же собирались наблюдать за этим в телескопы. Они жаждали, чтобы Россия первой попала на Луну, и горели желанием доказать это. Наверное, они уже погубили всех русских, которые были у них под рукой, и теперь они вынуждены посылать людей вроде меня. Если я зажгу огонь, они пошлют еще людей, если нет, они больше не пришлют провизии. Меня хорошо кормили, действительно очень хорошо; казалось, они заботятся обо мне, словно фермер — о хорошей жирной индейке перед Рождеством. Но вот меня вывели за стену и показали все сооружение: на холме высились огромные высокие металлические подмости, лифт поднимал наверх, рельсы легко сбегали по хрупкому виадуку, через поля тянулся длинный стальной туннель, он слегка поднимался вверх, — этого было достаточно, для того чтобы капсула пролетела над невысокими холмами на западе по пути к молодой Луне. Именно молодой — это для того, чтобы большая часть ее была в темноте, и мой костер можно было бы разглядеть. Там была и капсула, совершенно готовая, стоявшая в ожидании у начала рельсов. Ее открыли и продемонстрировали мое спальное место, похожее на узенькую койку на самом жалком суденышке, какое только бывает; повернуться негде, невесело будет торчать здесь десять дней или две недели. И всякие приспособления мне тоже показали: кислородную маску, которой надо пользоваться на Луне, и стопор, державший парашют, который стабилизирует капсулу перед приземлением. Когда дело дошло до стопора, я заметил, что на Луне не так много воздуха.

“Немного, — сказал один из сопровождавших, тот самый, что предлагал отсрочку приговора, — но у нас есть свидетельства, что он там все же есть. Слой в четыреста или пятьсот футов — для парашюта этого хватит”. — Он легко отмахнулся от, возможно, основного препятствия. Ручаюсь, если бы лететь предстояло ему, наличие воздуха заботило бы его больше.

Затем мы спустились вниз и взглянули на туннель с его стальным люком, поднятым в воздух, наподобие гильотины, он должен был захлопнуться за мной в тот момент, когда капсула покатится через казенную часть пушки. Мы проникли внутрь и увидели большие блоки черного пороха, лежавшие рядом с рельсами ближе к стенам, а затем туннель внезапно сужался.

“Чем больше блоки пороха, тем медленнее они горят, — сказал мой приятель, если можно так назвать человека, который с насмешкой предлагал мне отсрочить приговор. — Сила взрыва будет постепенно возрастать, пока вы будете внутри пушки”.

Думаю, этот туннель, нацеленный на Луну, был длиной больше двухсот ярдов.

То, что мне говорили о пушке, казалось вполне разумным, но я не мог отделаться от страха, как бы лунная атмосфера не оказалась слишком разреженной для парашюта, и тогда я потерплю аварию и сгорю при посадке. Я видел, как они переговариваются между собой, и понимал, что они говорят, хотя русского не знал: они похвалялись, что СССР сумеет долететь до Луны.

“Тысяча к одному, что вся эта затея провалится”, — выпалил я, обращаясь к человеку, понимавшему по-английски.

“У России все получится, — ответил он. — Наши ученые не полагаются на молитвы или на везение, как люди в капиталистических странах. Тысяча к одному, что мы пошлем тысячу людей, и хотя бы один попадет туда, и еще тысячу! И столько тысяч, сколько понадобится, чтобы мы смогли колонизировать Луну”.

Да, вот такие там были люди.

Оставалось только попытаться прожить как можно дольше.

“Вы дадите мне двухнедельный отпуск, прежде чем я отправлюсь?” — спросил я.

И, удивительное дело, они ответили “да”. На следующий день Эйзен, так звали ухмыляющегося человека, предлагавшего мне отсрочку приговора, от которой я отказался, зашел за мной довольно рано. Он сказал, что хочет еще раз показать мне капсулу, чтобы я как следует все освоил, а потом мы отправимся в театр, а потом на танцы с его знакомыми девушками. Он говорил об этих девушках всю дорогу до высокого мрачного сооружения, и девушки действительно казались очень симпатичными. Одна, сказал Эйзен, будет особенно рада познакомиться со мной: он знал ее вкусы. Он сказал это, как раз когда я оказался внутри капсулы; он описывал эту девушку все время, пока мы поднимались в лифте. Луна, которая только что начала убывать, стояла высоко в небе позади нас, а длинная пушка, когда я входил в капсулу, была обращена в другую сторону. Эйзен сказал, что должен знать все о капсуле еще до начала мо-

их каникул, и стал показывать приборы и задавать вопросы об оборудовании, затем объяснил, как именно нужно рассыпать порох по ста ярдам лунной поверхности.

“Она очень хорошенькая, эта девушка”, — сказал он вдруг. Затем продемонстрировал, как захлопывается люк.

Тут же раздался скрежет колес. Боже! Уже лечу! Сначала я решил, что это какая-то ошибка, но потом понял, что, как бы легко вас ни обвели вокруг пальца, рано или поздно, хорошенько подумав, вы обнаружите почему. Меня помогла одурачить Луна, находившаяся в небе позади нас. Мне не пришло в голову, что пушка может быть нацелена туда, где Луна очутится через десять-четырнадцать дней, когда капсула должна долететь до нее. Да, спускаться по рельсам с подмостков — отвратительное ощущение. Я лежал на этом подобии кровати, прикидывая, скоро ли капсула войдет в туннель. На самом деле, я все это слабо помню. Хорошо им было говорить, что скорость станет возрастать постепенно — где-то в туннеле меня два раза так потрянуло, что для моих мозгов это оказалось многовато, потому что когда я, очнувшись, открыл глаза, припомнил, что произошло, и посмотрел в застекленный проем, то не видно было ничего, кроме неба.

Эти чертовы русские включили подачу кислорода, иначе меня уже не было бы в живых. Я не имел понятия, сколько часов или дней прошло с тех пор, как я покинул Землю, и не представлял, насколько от нее отдалился. Луны тоже не было видно. Я знал только одно: я лечу в пространстве со скоростью пули, при этом находясь в абсолютном покое. Не слышалось никаких звуков, кроме ровного гула гироскопа, который удерживал кабину в одном и том же положении, в то время как капсула вращалась. Ни звука ветра, ни дуновения воздуха, и я понял, что вышел за пределы земной атмосферы. Меня угнетал невыносимый солнечный свет, ослепительный, неизменный, он обрушивался на меня, ему не препятствовали ни облака, ни воздух. Я закрыл глаза, но спать не мог, это продолжалось часами. Вдруг появилась тень, которую я ощутил сквозь закрытые веки, я взглянул — за стеклом виднелись звезды. Благословенная тень окутывала меня примерно полчаса, затем она пропала, и свет вернулся.

— Откуда взялась тень? — спросил я.

И Райан поднял глаза от своего абсента; застывшие от воспоминаний об этом долгом путешествии, измученные солнечным светом:

— Закат, — сказал он, — затем через полчаса оно всходило с другой стороны. — Я был так далеко от Земли.

— Ужасно, — не удержался я.

— Зато я выбрался из России, — сказал он. — Но Луны все еще видно не было. Я не знал, где нахожусь, не знал, сколько времени лечу. Я немного поел — не знаю, сколько часов или дней я жил без пищи, выпил воды, она оказалась вкусной. Затем случилась любопытная вещь. Я снова лег на койку, головой к уже пройденному пути, так что ноги оказались выше.

— Ты не должен был спать в такой позе, — сказал Джоркенс.

— Да, — ответил он, — и, наверное, поэтому я находился в бессознательном состоянии дольше, чем если бы лежал иначе. Не знаю. Но я постепенно сползал вниз, тяжесть тела смещалась к ногам. Носовая часть капсулы раньше была выше, чем основание, а сейчас явно стала ниже. За следующие несколько часов я несколько раз прикладывался к воде, мне больше хотелось пить, чем есть. Больше ничего не менялось. Затем моя постель приняла почти вертикальное положение, а ноги отяжелели. И вдруг в застекленном носу капсулы исчезло надоевшее сияние, а вместо него появился мягкий сумрак. Это было огромное облегчение для глаз, да и для сознания тоже. Но я не имел представления о том, где нахожусь и что случилось. Затем возник звук, который мог означать только наличие воздуха. И мягкий сумрак стал гуще. Вдруг меня осенило, что пора воспользоваться парашютом. Он сработал, и тут от глухого удара сломалась койка. Капсула приземлилась. Первым делом я натянул кислородную маску, которую следовало носить на Луне. Я не видел вообще ничего, так как застекленный нос капсулы почти целиком погрузился в почву, а то, что осталось, помутнело из-за какого-то атмосферного явления, похожего на дождь. Я открыл люк, который Эйзен захлопнул в России, и вышел наружу в кислородной маске. Действительно, шел дождь, он тут же залил окуляры маски, затуманил их, и стало казаться, что уже вечер. Я сделал шаг с мягкой кучи земли, на которую по счастью приземлился, в пространство, которое, как мне показалось, было совершенно лишено растительности. Это была в точности такая усыпанная песком или гравием пустошь, какую я ожидал найти на берегу какого-нибудь высокого лунного моря. Но наши ожидания не всегда оправдываются, потому что сзади вдруг раздался голос: “Вы знаете, что вторглись в чужие владения?”

Ну да, это была Англия. Англия во всех отношениях. И человек, который никак не мог быть ни лунным жителем, ни русским, смотрел на меня сквозь очки, стоя на своей посыпанной гравием дорожке. Моя капсула приземлилась на одну из его клумб, а парашют, целиком накрывший ее, напоминал покосившуюся палатку. Что ж, я не ненормальный. И я не

стал объяснять ему: “Мною выстрелили из пушки в России, и я рассчитывал, что окажусь на Луне”. Нет, я сказал: “Извините, сэр, я из Лондона, разбил здесь лагерь. Не знал, что это частное владение. Я сейчас уйду”. Он бросил недовольный взгляд на свою клумбу и ушел, задрав нос. Понимаете, я сказал ему ровно то, чего он ждал, как раньше говорил русским об архиепископе Кентерберийском, и крыть ему было нечем. Но мне не хотелось, чтобы о моей капсуле писала мировая пресса. Я совсем не был уверен, что меня не подвергнут экстрადиции из-за этой истории со стальным штырем. Вытащил порох, который следовало поджечь на Луне, посыпал им все, что легко воспламенялось внутри капсулы, а сверху водрузил канистру с кислородом, прикрыл все это от дождя парашютом и поджег. Пламя взметнулось до неба, но в России его увидеть не могли, так как смотрели не в ту сторону. Сомневаюсь, чтобы о том, что осталось от капсулы, написали хотя бы в местных газетах. А к вечеру следующего дня я снова встретился с Мими — как она и предвидела.

— Вот теперь вы знаете, что такое необычная история, — сказал Джоркенс, обращаясь к Таттону и ко мне. — Я бы сказал, совершенно необычная.

Перевод В. Кулагиной-Ярцевой